

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Сберегательный банк СССР предлагает вкладчикам новую форму расчетов за промышленные товары и услуги — чековую книжку. Она действительна на всей территории РСФСР.

● Чековая книжка может быть выписана на ваше имя в учреждении Сберегательного банка, где вы открыли счет по вкладу до востребования на любую сумму в пределах остатка по вкладу. При этом сохраняется порядок совершения операций по вкладам и доход по ним.

● Чековая книжка содержит 12 чеков.

● Чеками чековой книжки вы можете рассчитаться за промышленные товары в магазинах государственной и кооперативной торговли, а также за все услуги, предоставляемые различными предприятиями и организациями.

● Чек на оплату товара или услуги выписывается на любую сумму в рублях и копейках — в пределах остатка по чековой книжке.

● В учреждениях Сберегательного банка по чековой книжке вы можете получить наличные деньги или поручить получение денег по чеку другому лицу по доверенности.

● Более подробно с правилами пользования чековой книжкой вас ознакомят в любом учреждении Сберегательного банка.

Российский республиканский
банк Сберегательного банка СССР



Михаил БУЛГАКОВ

**ЗАПИСКИ
НА МАНЖЕТАХ**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Михаил БУЛГАКОВ

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

ИЗ ПРОЗЫ РАННИХ ЛЕТ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Михаил БУЛГАКОВ

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) родился в Киеве в семье доцента (позднее профессора) Киевской духовной академии. В 1909 году он окончил гимназию, в 1916-м — медицинский факультет Киевского университета. Затем был направлен в Смоленскую губернию земским врачом. В начале 1918 года М. Булгаков вернулся в Киев, где стал заниматься частной практикой, а с конца 1919 года он во Владикавказе (совр. Орджоникидзе), где оставил медицину ради журналистики и драматургии.

Осенью 1921 года М. Булгаков приехал в Москву, «чтобы остаться в ней навсегда». Работал в литературном отделе Главполитпросвета, был сотрудником газет «Рабочий» и «Гудок». Активно печатался в центральных и периферийных газетах и журналах. Выпустил три сборника, куда вошли ряд повестей и рассказов. Булгаковым написаны романы «Белая гвардия», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника» («Театральный роман»), «Мастер и Маргарита».

В 1926—1929 годах были поставлены и шли его пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», в середине 1930-х годов «Мертвые души» (по Гоголю) и «Кабала святош». Перу М. Булгакова принадлежат также пьесы «Адам и Ева», «Бег», «Иван Васильевич», «Блаженство», «Последние дни», «Батум», инсценировки «Войны и мира» и «Дон Кихота». Сборники пьес драматурга издавались в 1955, 1962, 1965, 1986 годах.

В последние годы жизни Булгаков работал консультантом-либреттистом в Большом театре СССР. В это время им созданы либретто опер «Минин и Пожарский», «Петр Великий», «Черное море», «Рахель» (по Мопассану):

В «Библиотеке «Огонька» вышел сборник рассказов из цикла «Записки юного врача» (1963, № 23). В настоящее издание включены рассказы и очерки, связанные с событиями биографии писателя.

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Московская бездна. Дювлам

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается во тьме. В мозгу жуткие раскаты:

«C'est la lu-u-tte fina-a-le!..

...L'internationa-a-a-le!!».

И здесь — также хрипло и страшно:

— С Интернационалом!!.

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели, действительно, бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку — медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

— Три пуда... Утаптывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагружился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз, и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое

пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, ратерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего прощеще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть как?..

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенкий, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан-Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте от страха показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?».

Папа стоял во тьме и бормотал: «сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из крошечного ада папин короткий палец, который отключил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубину.

Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестизэтажным зданиям, а, вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно загудела машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад.

Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли. А, слава богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще бо́льшая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да Горький Максим. «На дне». «Мать». Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо:

— Да!

Потом опять: ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал.

— Да! да!

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом налево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

После Горького я первый человек

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один — высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой, седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами, был в папаче, солдатской шинели. На ней не было места без дыры, и карманы висели ключьями. Обмотки серые, и лакированные, бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout. Как-то косноязычно:

— Это ... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритутого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

— Так вы?..

Я ответил:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете...

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом:

— Ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление у меня было за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.» Буква. Закорючка. Зевнул и сказал:

— Вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебряное сопрано сказало: Мейерхольд. Октябрь театра...

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

— Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

«Назн. секр.» Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... «На дне».. Шехерзада... «Мать.»

Молодой потрянул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. Четверть пайка.

Я включаю Лито

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занимались 3 человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва 1899 гт.»

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорожных французских духов. За конторкой появился стул. Чернила, и бумага, и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент,— говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затаптывают машинки, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изо».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: секретарь.

Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь верно, Лито...— сказала первая.

Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали?— спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: «распишитесь».

Написал бумагу в хозяйственный отдел: «Дайте машинку». Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машинка?

— Я думаю, что больше чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машинку и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— У вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалованье. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

Первые ласточки

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал:

— Шторн.

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «Пр. назн. инстр. За завед». Буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.
Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул за чем-то в шкаф. Вдохнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

Мы развиваем Энергию

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

«Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов».

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось — есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е. печальная жена разбойника) должны были составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было.

Но — у старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо.

б) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо.

с) За лозунги уплатить по 15 т. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 ч. 50 м., а в 3 ч. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5—6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

У старика — 3 лозунга.

У молодого — 3 лозунга.

У меня — 3 лозунга и т. д. и т. д.

Словом: каждому 45 тысяч.

У-у, как дует... Вот оно, вот, начинает моросить. Пирог на Трубе, с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

Неожиданный кошмар

...Клянусь, это сон!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидел: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мною происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

«1836 МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...»

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрывал глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь, если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестизэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые неэкономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. «Финчасть». «Нацмен». Попадая на светлые площадки, опять уходил во тьму. Наконец, вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я уйду, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40

Огненная надпись:

«ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА
ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ
НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА
И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ
В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...»

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся
от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее
в голове.

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню
и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так значит нужно
его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор!
У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще
я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане,
съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры = 72.
72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера
прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически
я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении.
И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение.
Если в четвертое, тогда — да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий адми-
нистративной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подь-
езд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

— Зачем?

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы
записку на двери.

— Да мы думали — вам скажут...

Я скрипнул зубами:

— Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

— Это верно.

Полным ходом

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь.
В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машинки. Потом появилась
вторая барышня. «Пр. назн. делопроизв.»

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна велико-
лепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. «Пр.
назн. секрет. бюро художествен. фельетонов».

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали
последнее «Пр». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула
работа.

Деньги! Деньги!

12 таблеток сахарину и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жалованье ни слуху, ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо.

Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте нашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала,
побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается — уму непости-
жимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно
не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен при-
казом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам.
Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав.
Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито — старик!
Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в ру-
ки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. На-
писаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут, действительно, Рок.

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печатать. Нужна еще одна, но не могу нигде второй день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше, чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Загорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

О том, как нужно есть

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович!

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора.

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и четверть фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слы-

шу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не уйду.

Наконец, хозяйка говорит:

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

Гроза. Снег

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5—6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу, — сказал он.

Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

«С такого-то числа Лито ликвидируется».

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, «Воскресшего Алкоголика», «Голодные сборники», стижи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

№ 13.— ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерно клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала-от-кавалерии де-Баррейн он до трех го-стил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии *sarciccioso* — то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — Эх!
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух. Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейн, стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевою шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шеншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить? Был дом... Большие люди — большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебст-

ву, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умища, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортмам...

Большое было время...

И ничего не стало. Sic transit gloria mundi!¹

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал-от-кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел, в чем был.

Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое бельё. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерно мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля Эльпитовских ковров, и которые вывесили на двери де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоят и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотрятель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

¹ Так проходит мирская слава! — (лат.).

И вот, Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около $\frac{1}{10}$ того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатках на другом конце Москвы.

— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное — топить. И вот, добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то задело, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартире, в которой когда-то студия была, табу наложил.

— Нилушкина Егора туда вселить...

— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином Эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманым окном. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер бабам кричал:

— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные!

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

— Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

— Сво-о-лочь ты! Пьяндыга! Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебным загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора, с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в закрытые двери, а в незакрытые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

— Которые тут гадют, всех в 24 часа!
И с уличных брал дань.

И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

— Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

— Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали, замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Ивановичу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил: — Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление оглашалось:

— Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски-приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил.

— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыльева Аннушка, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзавестись топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету — не позволять! Косой черт (это про Христи)! Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

— Ах, зануда баба.. Ну, и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

— Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка — мороз. Озвереев всякий...

...В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5 стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, потсукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие. — Замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак...

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

...Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!! Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники-святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперевод... Барышня! Ох, барышня!! Один — ох-двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала. По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-красных шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головешки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

...Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не саргисцо, а страшно — brioso. Сретенская с переулком — дае-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной как траурные плащи-бабочки полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бек раздул так, что в 4 этаже в 49 номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божи! Ванюшка сгорел! Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило, и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!! Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные — бенц! Бенц!

Трубики в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходит! Глаза лопнут...

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел не отрываясь туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариадид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь... Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

— Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

— Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть поросил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли — «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так:

— Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съезжился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 дом Эльпит-Рабкоммуна.

ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

(С натуры)

В Доме Союзов, в Колонном зале — гроб с телом Ильича. Круглые сутки — день и ночь — на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича.

Стрела на огненных часах дрогнула и стала на пяти. Потом неуклонно пошла дальше, потому что часы никогда не останавливаются. Как всегда, с 5-ти начали садиться на Москву сумерки. Мороз лютый. На площадь к Белому Дому стал входить эскадрон.

— Эй, эгей, со стрелки, со стрелки!

Стрелочник вертелся на перекрестке со своей вечной штангой в руках, в боярской шубе, с серебряными усами. Трамваи со скрежетом ложились в толпу. Машины зажгли фонари и выли.

— Эй, берегись!!

Эскадрон вошел с хрустом. Шлемы были наглухо застегнуты, а лошади одеты инеем. В морозном дыму завертелись огни, трамвайные стекла. На линии из земли родилась мгновенно черная очередь. Люди бежали, бежали в разные концы, но увидели всадников, поняли, что сейчас пустят. Раз, два, три... сто, тысяча!..

— Со стрелки-то уйдите!

— Трамвай!! Берегись! Машина — стрелой — берегись!

— К порядочку, товарищи, к порядочку. Эй, куда?

— Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься. Проститься!

— Опоздала, тетка. Тет-ка! Ку-да-а?

— В очередь! В очереди!

— Батюшки, по Дмитровке-то хвост ушел!

— Куда ж деться-то мне, головушке горькой? Сквозь землю што ль провалиться?

Запрыгал салоп, заметался, а кони милицейские гигантские так и лезут. Куда ж бедной бабе деваться. Провались, баба... Кепи красные, кони танцуют. Змеей, тысячей звеньев идет хвост к Параскеве Пятнице, молчит, но идет, идет! Ах, быстро попадем!

— Голубчики, никого не пушайте без очереди!

— Порядочек, граждане.

— Все порем...

— Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

— Не обижайте!

— Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минуту,образи в голове происшедшее...

— Куды?! Эгей-й!! Эй! Эй!

— Рота, стой!!

Ближе, ближе, ближе. Хруст, хруст. Стоп. Хруст... Хруст... Стоп... Двери. Голубчики родные, река течет!

— По три в ряд, товарищи.

— Вверх! Вверх!

— Огней, огней-то!

Каравулы каменные вдоль стен. Стены белые, на стенах огни кустами. Родилась на стрелке Охотного река и течет, попирая красный ковер.

— Тише ты. Тш...

Шапки сняли, идут? Нет, не идут, не идут. Это не идут, братишки, а плывет река в миллион. На ковре ложится снег.

И в море белого света протекает река.

Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные, красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в сердце ее лежит на постаменте обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бесчисленные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

Уходит, уходит река. Белые залы, красный ковер, огни. Стоят красноармейцы, смотрят сурово.

— Лиза, не плачь. Не плачь... Лиза...

— Воды, воды дайте ей!

— Санитара, пропустите, товарищи!

Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

— Батюшки? Откуда ж зайтить-то?!

— Нельзя здесь!

— Порядочек, граждане!

— Только выход. Только выход.

— Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке! Не дождусь я, замерзну. Пустите? А?

— Не могу, очередь!

Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо — погаснет.

— Эй! Эгей! Берегись! Берегись! Машина раздавит. Берегись!

Горят огненные часы.

ВОСПОМИНАНИЕ...

У многих, очень многих, есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где по точным сведениям науки даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины — 12 выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара — и я жив.

Но расскажу по порядку.

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот:

— Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: также давали крупу и также жалованье платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной стал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было 5 знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях и один раз на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, — это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

— Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего председателя.

— Пожалуйста, пропишите меня, — говорил я, — ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

— Нет, — отвечал председатель, — не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

— Но где же мне жить, — спрашивал я, — где? Нельзя мне жить на бульваре.

— Это меня не касается, — отвечал председатель.

— Вылетайте, как пробка! — кричали железными голосами сообщники председателя.

— Я не пробка... я не пробка, — бормотал я в отчаянии, — куда же я вылечу. Я — человек. Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

— Вылетайте, как пробка.

Ночью черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

— Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

— Так... так... так... — отвечал Ленин.

Потом он звонил.

— Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки-вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:

— Я больше не буду.

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.

— Вы не дойдете до него, голубчик, — сочувственно сказал мне заведующий.

— Ну так я дойду до Надежды Константиновны, — отвечал я в отчаянии, — мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду. И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

— Вы что хотите? — спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никак надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

— Нет, — сказала она, — такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала —

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

— Как? — вскричали все. — Вы еще тут?

— Вылета...

— Как пробка? — зловеще спросил я. — Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался:

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

— Улья?.. — спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

— Иван Иванович, — расслабленно молвил барашковый председатель, — выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения — лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами —

Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

(От нашего московского корреспондента)

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой стороны — шины полтора миллиарда! Первое Мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему, неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского!».

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мелко новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат: «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон. Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадёжно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!!

А напротив на балкончике под обелиском Свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

...британ-ский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-вой! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкачивалась новая лента, загибалась к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятем заклеяменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках, и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотях, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, пспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять заswerкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница — клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран соеди...»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин!

Из какого-то рассказа.

Неврастения вместо предисловия

Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвай сесть нельзя — почему так мало трамваев? Целый день мучительно хочется пить, а когда доберешься до него, в небо вонзается воблина кость, и оказывается, пиво никому не нужно. Теплое, в голове встает болотный туман, и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву в Покровское-Стрешнево.

Но на Страстной площади, как волки, воют наглецы с букетами, похожими на конские хвосты.

На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

Служивцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и, мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует денег. На общие собрания идти не хочется, а в «Аквариуме» какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был — бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым.

В какое именно место Крыма?

Коктебельская загадка

— Естественно в Коктебель, — не задумываясь ответил приятель. — Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отличающихся мух.

— Я еду в Коктебель, — сказал я второму приятелю.

— Я знаю, что вы человек недалекий, — ответил тот, закуривая мою папиросу.

— Объяснитесь?

— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

— Какого ветру?

— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд.

Ушел я от него.

— Я в Коктебель хочу ехать, — неуверенно сказал я третьему и прибавил: — Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

— Счастливцев! Море, воздух, солнце...

— Знаю. Только вот ветер — зунд.

— Кто сказал?

— Катошихин.

— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд — такого и ветра нет.

— Ну, хорошо.

Дама сказала:

— Дует, но только в августе. Июль — прелесть.

И сейчас же после нее сказал мужчина:

— Ветер в июне — это верно, а июль — август будете как в раю.

— А черт вас всех возьми!

— Никого ты не слушай, — сказала моя жена, — ты издергался, тебе нужен отдых...

Я отправился на Кузнецкий Мост и купил книжку в ядовито-синем переплете с золотым словом «Крым» за 1 руб. 50 коп.

Я — патентованный городской чудака, скептик и неврастеник — боялся ее читать. «Раз пугеводитель, значит, будет хвалить».

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидали на странице 370-й: (Крым. Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. Физио-Терапевтического Общества и т. д. Изд. «Земли и Фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «Крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных... Бесперывный ветер, не прекращавшийся в течение 3 недель, до исступления доводил неврастеников. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель».

(В этом месте жена моя заплакала.)

«...Отсутствие воды — трагедия курорта, — читал я на стр. 370—371, — колодезная вода, соленая, с резким запахом моря...»

— Перестань, детка, ты испортишь себе глаза...

«...К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобств сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни...»

— Довольно! — нервно сказала жена.

Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было:

«Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.»

И мы поехали...

В Севастополь!

— Невозможно, — повторял я, и голова моя моталась, как у зарезанного, и стучалась о кузов. Я соображал, хватит ли мне денег. Шел дождь. Извозчик как будто на месте топтался, а Москва ехала назад. Уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах, и серые дома, и глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я запереть комнату...

«I — с» великолепен. Висел совершенно молочный туман, у каждой двери стоял проводник с фонарем, был до прочтения плакатов недоступен и величествен, по прочтении предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях бутылки «Боржома» и красного вина.

Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла.

Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официанты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике. Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы скрывают от меня подмосковную природу.

— Камнями швыряют, сукины сыны, — пояснил мне служащий, изгибаясь, как змея.

В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он считает наиболее опасными. Выяснилось: Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфячок (пломбированное белье и тюфяк стоят 3 рубля). Мой мюровский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно.

«Его украдут в Орле», — думал я горько.

Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, я свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я благодаря этому видел страшный сон и чуть не

удавился. Тула и Орел остались где-то позади меня, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось.

Летели поля, мы резали на юг, на юг опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было, никто камнями не швырял, временами сек дождь и косями столбами уходил за поля.

Прошли от Москвы до Джанкоя 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерелиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом, совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов.

В зале первого класса, за стойкой, иконописный, похожий на заводителя Мамай, татарин поил бессонную пересадочную публику чаем. Малодушие по поводу холода исчезло, лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объяснение.

«Кредит портит отношение».

Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там — розы, вино, море, комнатка 20 руб. в месяц, а он там, в Отузах, председатель. Чего? Забыл. Не то чего-то кооперативного, не то потriebительского. Одним словом, он и винодел.

Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой. Юркий мальчишка, после того как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, льстиво ответил:

— Сколько хотите.

А когда я ему дал 30 коп., завыл на весь Джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке:

— Ты же мерзавец. Тебе же гривенник следует с проездного.

И мне:

— Дайте ему по морде, гражданин.

— Откуда вы узнали, что я приезжий? — ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 коп. (он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий, лет 12, если попадете в Джанкой — бойтесь его).

Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки.

Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря.

Коктебель. Фернампиксы и «лягушки»

Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, это развороченный, в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг, с другой — между желто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядями, переходящими в мыс — Прыжок козы.

В бухте — курорт Коктебель.

В нем замечательный пляж, один из лучших на Крымской жемчужине: полоса песку, а у самого моря полоска мелких, облизанных морем разноцветных камней.

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими «каменной болезнью». Приезжает человек, и если он умный — снимает штаны, вытряхивает из них московско-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

Если не умный — остается в длинных брюках, лишающих его ноги крыского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

— Посмотрите-ка, что я нашел!

— Замечательно, — отвечают ему двухнедельные старожилы, в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность, — просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

— Когда? — спрашивает наивный москвич.

— Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат груды белые, серые и розоватые гольши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосах и рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые, сидят и роются, ползают на животе.

Не мешайте людям — они ищут фернампиксы! Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиков, попадаются «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгают любители и «пейзажными собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

— Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано!

— Ах, черт возьми, действительно вылитый Мефистофель...

— Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве!

Те, кто камней не собирает, просто купается, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен; а иные и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной системой.

Я разъясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не бывает без ветра ни чего, даже в жару. И ветер раздражает неврастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. Там в нем сравнительно мало нэпманов, но все-таки они есть. На стенах оставшегося от довоенного времени помещения поэтического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись:

«Нормальный дачник — друг природы.

Стыдитесь, голые уроды!»

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе при галстуке, пиджаке и брюках с отворотами.

Эти «друзья природы» прибывают в Коктебель и ныне из Москвы и точно в таком виде, как нарисовано на «Бубнах». С ними жены и свяченицы: губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюстгальтер, кремевые чулки и лакированные туфли.

Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и при зябле, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиной к морю, лицо к кооперативу и едят черешни.

О «голых уродах». Они-то самые умные и есть. Они становятся кичливыми, они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе жарко и ездить. Нэпман ни за что не разденется. Хоть его озолоти, с ним не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми в трусиках комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попали на отдых в Крым, и наиболее смысленные дачники.

Они пользуются не только морем, они влезают на скалы Карадага и раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте на козьих тропах, так близко, что если смотреть вверх — немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красненькие головные повязки. Как они туда забрались?!

Некогда в Коктебеле еще в довоенное время застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера.

Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, растолстел и написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернампиксам:

«...и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подолы»...

Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела.

«Качает»

Пароход «Игнат Сергеев», однотрубный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару — в два часа дня. Он долго выл у пристани морагентства. Цепи ржаво драли уши, и вертелась в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, которое матросы грузили в трюм.

Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны кают-компания, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало, а почему, об этом ниже.

«Игнат», постояв около часа, выбросил таблицу «отход в 5 ч. 20 мин.» и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторы подуло свежестью...

Буфетчик со своим подручным (к слову: наглые, невежливые и почему-то оба пьяные) раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки, такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштекс в виде подметки с салыным картофелем, кому половину костлявого цыпленка, бутылки пива. В это время «Игнат» уже лез в открытое море.

Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опустить куда-то очень глубоко.

Первым взяло гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на псддороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему понравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом.

Нежным голосом он произнес:

— Дайте нарзану...

Буфетчик с равнодушно наглыми глазками брякнул перед ним бутылки. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косяк понесло по ковровой дорожке.

— Качает! — весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула как куля на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз...

«Черт меня дернул спрашивать бифштекс...»

Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеватая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:

— Ох... Говорила я, что нужно поездом в Симферополь...

«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы.

Там уже был полный разгар. Старуха армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.

Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал.

— Ничего, ничего... Дань морю.

Волна шла (издали из Феодосии море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порою с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез... ле-ез... ох... вверх... вниз.

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, и где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.

Пробовал смотреть в небо — плохо. На горы — еще хуже. О волне — нечего и говорить...

Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубе и стал засыпать... Горы еще мерещились в сизом дыму.

Ялта

Но до чего же она хороша!

Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня — в семь, но уже не огней, а драгоценных камней...

В кают-компанию дают полный свет.

— Ялта.

Вот она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.

Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножия их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно, Ялта!

Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е., я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.

По спящей еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сади, а впереди дворец, — черт возьми!

Наверное привел в самую дорогую гостиницу.

Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.

— А почему электричество не горит?

— Курорт-с!

— Ну ладно, все равно.

В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть, — ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

Наутро Ялта встала умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настезь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тубетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все «по-курортному», и на все спрос. Мимо блестящих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

Морская часть

Хуже, чем купанья в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную, крупно-бульжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Не менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) налеплены деревянные, вымазан-

ные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собою разумеется, что при входе на пляж сколочена скворешница с кассовой дырой, и в этой скворешнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворешной дыре после купанья:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно.

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.

В Ливадии

И вот в Ялте вечер. Иду, все выше, выше по укатанным узким улицам, и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем как игрушка с косым парусом застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то к крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования. Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко, — лежит туман.

Здесь среди выложенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково — в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое зеленое, гигант-

скими уступами сколько хватит глаз падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.

В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом. Голова эта очень мрачно смотрит), выложенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегаая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стекляннопозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.

«У Антона Павловича Чехова»

В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими улочками, вздырающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь.

В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девяностых годов — жи-

вой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда». На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

— Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но, кроме него, сидели многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись — вещь никому не нужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись:

«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...»

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана. Зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.

В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну, как вы находите, Антон Павлович?»

А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо... работайте!» Не то что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»

В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов, — и его рукой написано «phenal»... — и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».

На автомобиле до Севастополя

Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля и «сэкономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.

Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину — я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все было с разных. Правое колесо было «мерседеса» (перднее), два задних были «пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой. Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань.

Все это громыхало, свистело, и передние колеса стали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности. Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера — двое действующих и третий — бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой «первой по быстроходности машины», в полном смысле слова «интернациональной». И мы понесли.

В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали как ящерицы на солнце. Зелени — океан; уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре.

Вторая — в Алупке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красоту Южного берега.

Севастополь и Крыму конец

Под вечер обожженные, пыльные, пьяные от воздуха катили в белевский раскидистый Севастополь и тут ощутили тоску: «Вот из Крыма нужно уезжать».

Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клоч из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар.

Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усыянного звездами Севастополя в теплый и ароматный вечер с тоской и сожалением уехали в Москву.

КОММЕНТАРИИ

«Записки на манжетах» («московская» часть) печатаются по тексту первой их публикации в журн. «Россия». М., 1923, № 5.

Рассказ «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» — по тексту сборника: «Михаил Булгаков. «Д яволиада». М., «Недра», 1925 год.

Очерк «Бенефис лорда Керзона» — по тексту газ. «Накануне», Берлин, 1923, 19 мая.

Репортаж «Часы жизни и смерти» — по тексту газ. «Гудок». М., 1924, 27 января.

Рассказ «Воспоминание...» — по тексту журн. «Железнодорожник», М., 1924, № 1—2.

Цикл очерков «Путешествие по Крыму» — по тексту «Красной газеты», вечерний выпуск. Л., 1925, 27 июля, 3, 10, 22, 24 и 31 августа.

Составление Б. С. Мягкова.

СОДЕРЖАНИЕ

Записки на манжетах	3
№ 13.— Дом Эльпит-Рабкоммуна	18
Часы жизни и смерти	24
Воспоминание...	27
Бенефис лорда Керзона	31
Путешествие по Крыму	34
Комментарии	47

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Из прозы ранних лет

Редактор В. П. Енишерлов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 25.11.87. Подписано к печати 28.01.88. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,06. Тираж 150 000 экз. Зак. № 1647.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды». 24.